

Андрей Соболев

Обломки



Андрей Соболев

Обломки

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22136177
Обломки: 1921

Аннотация

«...У подножья базальтовой горы, в саду, где мало цветов, но много фруктовых деревьев, в зелени прячутся четыре двухэтажных домика, с балкончиками, навесами, перильцами, номерками над каждой дверью, с рукописными наставлениями, как обращаться с мебелью, в какие часы требовать кипятку и когда вносить плату.

Днем в саду тихо – все на пляже, только посапывает в плетеном кресле под корявой грушей разбитый параличом бывший вице-губернатор Сувалкской губернии, отчего кажется, что гудит все время неугомонный шмель, гудит и не хочет убраться...»

Андрей Михайлович Соболев

Обломки

У подножья базальтовой горы, в саду, где мало цветов, но много фруктовых деревьев, в зелени прячутся четыре двухэтажных домика, с балкончиками, навесами, перильцами, номерками над каждой дверью, с рукописными наставлениями, как обращаться с мебелью, в какие часы требовать кипятку и когда вносить плату.

Днем в саду тихо – все на пляже, только посапывает в плетеном кресле под корявой грушей разбитый параличом бывший вице-губернатор Сувалкской губернии, отчего кажется, что гудит все время неугомонный шмель, гудит и не хочет убраться.

А под вечер вице-губернатора уносят, на балкончиках появляются лампы, калужская помещица покрикивает на горничную, дебелая оперная певица, накинув на плечи длинный шифоновый шарф, разгуливает по дорожкам. И возле всех лестниц загораются мангалки – обыкновенные ведра, но с решеткой посередине: местное изобретение для стряпни.

У каждой мангалки свой хозяин или хозяйка, но у каждой мангалки и душа своя.

Особая, как уверяет лысый поэт в шапке, похожей на мо-

нашескую скуфейку, с которой он никогда не расстается, уродливый, как бурятский божок, избиваемый в дни непогоды и обожаемый в часы удачного восхода трав, длинноногий, с зубами, черными от табаку и почти выкрошенными неизменным мундштуком.

Но у поэта чудесные глаза; правда, как будто блуждающие, как будто они на время удаляются и, побродив – где? где? – возвращаются робкими и усталыми, словно еще не преодолели всего виденного.

У поэта тоже своя мангалка, как и у соседа его за стеной, человека неопределенной профессии и звания – Александра Григорьевича Мировича. И такая же мангалка у «светлейшей».

И, как все, «светлейшая», – девушка двадцати четырех – двадцати пяти лет, фамилию которой владелец сада и домов Пататуев произносит с восторгом, почтением и трепетным благоговением, – в сумерки разводит в ней огонь и, белея на свету, ставит кастрюльку, сковородку. И когда шипит масло или бурлит вода, поэт в скуфейке бросает свою мангалку, прячется за перила лестницы и смотрит, как из комнаты выходит «светлейшая», как она, стоя над мангалкой, от дыма заслоняется ладонью. И за эту ладонь, за эту руку поэт готов в любой час взобраться на Чертов палец, недоступный и грозный, даже и днем жуткий, и оттуда, с непостижимой высоты, ринуться вниз, в море.

Но не только поэт, – ах, поэту сам бог велел! – но и неопре-

деленная личность, Мирович, тоже на многое готов ради этой «белобрысой», как ее называет язвительно четвертый сосед по домику, Лунин, газетчик, репортер, агент страхового общества, прапорщик в бегах и в конечном счете глубоко несчастный человек с одним легким и с пятилетним сыном – Андрюшкой.

Но Мирович не поэт, он скуп на слова, он только быстро-быстро трет свой левый висок, когда «светлейшая» проходит мимо; трет усиленно (точно суконкой какое-нибудь изделие из металла, чтобы оно заблестело, засверкало). Но висок по-прежнему остается восковым, безжизненным. А «светлейшая» в это время уже удаляется, от ног ее в морском песку остаются впадины.

И когда просачивается вода, и там, где отпечатлелся каблучок, сразу зарождается новая жизнь, Мирович грудью ложится на берег, перебирает ракушки, камушки, засохшие пучки морских трав. И все ищет и ищет – камень особенный, многоцветный, до сих пор не виданный и еще никем не найденный.

И даже Лунин, хотя все время возится с легким – одним, другого уже нет – и Андрюшкой, и хотя твердит, что в белобрысой ничего нет, кроме громкого имени, тоже не раз ловит себя на мысли о том, как прекрасно и как изумительно было бы услышать от этой девушки коротенькое, простое, но такое очаровательное слово «милый», и, услышав, пойти за ней.

Куда? – все равно, но подальше от мангалок, от зеленой

плевательницы в кармане, от разбухшего вице-губернатора. И даже от моря, что шумит днем и ночью, но и днем и ночью чужое.

Чужое, – потому что есть берега другие, желанные, а к ним не пробраться, потому что есть уголок на далеком севере, куда путь преградили взорванные мосты, вывороченные рельсы, поля, переплетенные колючей проволокой, пушки, пылающие деревни, броневики и люди, люди, люди: одни с одними знаменами, другие с другими, но и те и эти мокнущие под дождем, но и те и другие несущие смерть.

Вице-губернатор знает, что в этом теплом краю, где кудрявый виноград цепко ухватился за землю и солнцем пьян, где розовый миндаль в цвету похож на сон, навеянный чтением сказок Шехеразады, ему придется окончить дни свои.

Но он терпеливо принимает неизбежный удел: Сувалкской губернии не существует, в вице-губернаторской квартире, нет сомнения, живет какой-нибудь проходимец; партнеры по преферансу разбрелись по свету божьему, и где их теперь найдешь, а начальник контрольной палаты еще в прошлом году где-то в Твери или Коломне умер от тифа, – и вице-губернатор аккуратно пьет свое молоко, еще теплое, еще пахнущее выменем, и сопит, не от огорчения и боли, а только потому, что он отучнел, и что все труднее и труднее ему дышать.

Андрюшку все любо: и море, и раковины, и ястреба над Чертовым пальцем, и татарки с монетами в мелких косич-

ках, и одноглазая камбала. И не мудрено, что он наливаются, как колос, смуглеет, как цыган, и, как татарчата, не знает он тесноты штанишек и неудобства рубашек.

«Светлейшая» дружит с Андрюшкой.

Андрюшок «светлейшей» приносит медуз, морских коньков; «светлейшая» уже давно мечтает порадовать Андрюшка паровозом или шумливым аэропланом. Но у «светлейшей», хотя около постели и висит золотая в плетении сумочка, денег мало, и все чаще и чаще болгарин Бастичев, лавочник из села, уносит к себе то колечко, то пару лайковых перчаток, то шелковую кружевную рубашку.

А поэт обо всем этом знает.

Быть может, мангалка «светлейшей» ему все рассказывает: поэт верит, что мангалки знают все хозяйские тайны и могут о многом поведать.

И не потому ли иногда вечером поэт тихонько ставит свою мангалку на место мангалки «светлейшей», а чужую уносит к себе, греет на ней местное красное вино, очень дешевое, но крепкое, прибавляя к нему корицы, кладя мускатный орех, запах которого напоминает ему Индию, – и слушает, слушает, как верещит мангалка.

А когда мангалка отмирает, и огненные ее язычки перестают облизываться, поэт пьет горячее вино, снимает скуфейку и напевно читает (о нет, не свои стихи, их он прочтет только одной ей, единственной, когда она придет, взглянет, заманит, заворожит):

Нет, не люблю я за кубком слушать шумные речи
О кровавой войне и раздорах.
Кто Афродиту, Эрота и Муз прославляет за пиром –
Тот приятен в своих разговорах.

А после четвертого, пятого стакана он прощается со старым приятелем Анакреоном и русским стуком стучит в стенку соседу – Мировичу – и зовет его к себе провести час-другой по-русски: выпить и поплакать. И, сорвав с себя венок, сплетенный утром в горах из вереска, натягивает скуфейку до ушей и пьет, пьет сосредоточенно восьмой, десятый стакан, и уже нет ни Индии, ни Греции, не качается палатка на просторной спине философа-слона, не прыгает в оливковой роще растрепанный фавн, не шелестят опахала из павлиньих перьев, а тянется мокрая проселочная дорога, стынут березки в предвечернем зыбком тумане, и за пряслем дымит избенка горьким и тоненьким дымком.

– Мирович, у вас удивительная фамилия. Так хорошо сказать вам: Мирович, выпьем. Или: Мирович, айда.

– Куда? – спрашивает Мирович, ставит свой стакан на стол и прищуривается в уровень стакана. Глаза у него продолговатые, и постоянно на лице его тень от ресниц, точно от какой-то злой птицы, всегда над ним парящей, как кружится неизменно птица-орел над завоевателем, победителем и удачником. Прищуривается так, как будто в красной жидкости пытается разглядеть, куда какие дороги побежали.

Мирович скуп на слова, а может быть, скуп и на другое: он плохо одет, питается скудно и говорит он нехотя:

– Некуда! Сидите...

Вино все выпито. За окном шумят тополя, в высь стремящиеся в бессмертной красоте, о такой же красоте, неумиряющей и вечной, твердит море, волну за волной посылая к берегу, точно вестников в серебряной броне о победе, а поэт длинноногий, подобный бурятскому божку, грезит об единственной и не в силах спрятать свою тоску по ней – близкой, вот тут живущей рядом, «светлейшей», и – такой далекой.

– Мирович, у вас поразительная фамилия. Так хорошо сказать вам: Мирович, повесимся.

– Я еще жить хочу, – цедит сквозь зубы Мирович слова и последние капли вина. – Хочу! – и вдруг стучит кулаком по столу.

И это так неожиданно, так непохоже на него: он всегда ровен и спокоен, редко повышает голос, а тут кричит, и так громко, что «светлейшая» может проснуться.

– И буду жить. Хоть с чертом, с дьяволом, но я уйду отсюда. Опротивела мне эта бирюза. Тошно от олеографии. Вечно перед глазами. Какая-то сплошная выставка глупо намаляванных пейзажей. Не хочу! С дьяволом, но отсюда.

– А где найти его? – робко спрашивает поэт и покусывает ногти: скверная привычка, поэт это знает, но до крови обдирает ногти, как всегда в минуты непоборимой и лютой тоски. – Дьявол! Черт! Они тоже разбежались. Забыли о нашем

существовании. Хоть бы один... Черт!..

И, прикрыв глаза исковерканными пальцами, видит поэт раздвоенное копыто, насмешливые губы над узкой, длинной бородкой, сухощавую руку с карбункулом на темном мизинце.

А подняв глаза, уже не находит Мировича: тот ушел незаметно, как всегда.

Куда? – быть может, под окно «светлейшей» или к подножию Чертова пальца.

«Мирович, давай повесимся», – и улыбается поэт, и смеется над собой, над лысиной своей, над тетрадкой своих стихов о приходе единственной и о глухих переулках недоступной, желанной Москвы.

Улыбается, смеется, потому что уже светает, уже отошел хмель, но и плачет – плачет над теми же стихами, над той же лысиной.

Все ближе и ближе заря – и вот потух синий огонек в деревянной вышке напротив, в маленьком цветном оконце приземистой дачи, где живет звездочет – странный человек четырехугольного сложения и низкого роста, с бородой цвета шафрана и тройной фамилией Бурейша-Домгайло-Кричинский, бодрствующий по ночам, от солнечного света убегающий за гардины, портьеры и ставни, владелец полуразрушенного дома, выжженного виноградника и небольшого телескопа.

Когда в синем оконце гаснет огонек – значит, рассвет при-

двинулся, значит, сейчас солнце всплывет.

«Светлейшая» знает это: не впервые ей отходить от своего окна вместе с синим огоньком.

И, присев на край несмятой постели, говорит себе «светлейшая»:

– Вот еще день прошел. Боже, научи меня все, все забыть!..

Номера у Пататуева не пустуют, есть даже и кандидаты, очереди своей ожидающие в ближайшем городке, где много солдат, пыли, караимов, где на улицах постоянные сборы то в пользу раненых, то на воздушный флот, то на агитационную газету. Кандидаты рвутся к морю, к виноградникам, а Пататуев рад, и нет сомнения, что, отходя ко сну, молит господа бога не вмешиваться в людские распри.

Оперная певица обожает шашлу и верит, что от шашлы похудеет, и зимой, когда, наконец, можно будет вернуться в Киев, шашла позволит ей играть и умирающую Травиату, и легко скользящую Лакмэ. Вице-губернатор в восторге от болгарской молочницы и видит в этом достойное вознаграждение за все то, что некогда Россия сделала для Болгарии. Крупный железнодорожный чиновник в белоснежном кителе сверкает посеребренными орлами пуговиц и о взорванных мостах не беспокоится, и не сомневается, что в назначенный и нужный час быстро поднимутся со дна речного грузные быки, и перекинутся сквозные железные арки, почтительно прокладывая дорогу действительному статскому.

Харьковская медичка на пляже окончательно развязалась со своею бледной немочью и даже иногда пудрится.

И только три человека не знают, как уйти от пататуевских клумб, киммерийских скал, татарок и даже от моря.

И трое, когда заговаривают об отъезде, не могут не подумывать о «светлейшей»: а что будет с нею?

Но «светлейшая» об этом не знает, а если даже и догадывается, то молчит и, только глядя Андрюшка, улыбается изредка Лунину, порой поэту и уже чаще Мировичу – и лишь тогда понимают все трое, что во всем саду, а может быть, и во всем мире, они трое для «светлейшей» живые, будто даже и близкие, а все остальные – тени, и разве тень может задеть, огорчить или порадовать?

Что ей тени, когда даже и живые, вот эти самые «будто даже и близкие», ни разу не смогли ее заставить рассмеяться, заплакать, выйти в сад лишний раз, сказать лишнее слово, пройти чуть дальше, оглянуться с пути, небрежнее или мягче накинуть платок, протянуть руку. А ведь у поэта под скуфеей складываются очаровательные строфы о ней, простые и мудрые. А ведь у Лунина, хотя и одно легкое, сердце преданное и верное, а скарамуш-Мирович, человек-прохожий, без роду и племени, от тетки родившийся, как он однажды сказал поэту, ведь найдет единственный камень и даст его «светлейшей», разыщет если не на берегу, то там, где над лихими провалами спорит с орлами и ветрами острый, упорный и беспощадный Чертов палец...

Да, да, нет сомнения: все мангалки болтливы. Иначе – как могла бы знать «светлейшая» о песнях поэта, о смешном сердце Лунина и о том, что человек-прохожий вдруг круто остановился, замер, словно перед ним все дороги свернулись замысловатым клубком?

Утром «светлейшая» думает о Лунине, днем о поэте, а вечером о Мировиче, но о старом, о прежнем все же забыть не может и напрасно по ночам молит бога, обращается к разуму, упрашивает сердце и взывает к рукам: бог недоступен, разум на веки запомнил кривой оскал мертвого рта и окровавленный ус, сердце затаило до конца дней смертельный крик у калитки, а руки никогда, никогда не сотрут холода любимого лица.

«Светлейшая» купается вдали от всех; оперная певица убеждена, что у «светлейшей» или колени вогнуты, или грудь плоска, недаром она всегда в платьях одного и того же покроя, недаром в самую сильную жару вырез на груди не увеличивается. И обедает она тоже отдельно, а это, уверяет певица, очень смешно, и харьковская медичка соглашается с ней: быть титулованной – и возиться с мангалкой.

И еще заметила певица, что на «светлейшей» нет никаких украшений, даже колец, даже самого завалящего медальончика, и, играя своими кольцами – подарками за игру и еще кое за что, – певица говорит, что «светлейшая» или авантюристка, или же, по некоторым причинам, ясным, ясным, живет под чужой фамилией. Но действительный статский, хотя

«светлейшая» упорно избегает его, честно приводит доказательство за доказательством и даже ссылается на петербургскую выставку, где он видел портрет «светлейшей» работы Серова.

Когда появляются первые персики, ароматные и целомудренные, как детский пушок на округлости щек, поэт покупает корзинку и в сумерки осторожно ставит ее у дверей «светлейшей». Поутру «светлейшая» благодарит его, и как хорошо, как пахуче отдается в душе поэта это простое, несложное «спасибо».

Знает ли «светлейшая», что в одно это маленькое слово поэт погружает целые миры и миры, как персики опилками, пересыпает песнями? – утром «светлейшая» думает о Луине, днем о поэте, а вечером о Мировиче.

Звездочет Бурейша-Домгайло-Кричинский зажигает свою лампу, синий огонек кивает «светлейшей».

Вечер располагается на ночь.

Слева от селения низкие холмы, всегда улыбчивые, тают в фиолетовых прядях, а справа растет, набухает громада голых скал, и неуклонно грозит небу, морю, людям Чертов палец с загнутым ногтем.

«Светлейшая» от сада идет вправо: даже по утрам не тянет ее к себе светлая извилистая гряда изумрудных ковров, даже днем Чертов палец манит к себе, – и с ним, на его стороне, возле него «светлейшей» лучше, как часто легче остаться наедине с угрюмым и молчаливым человеком, чем с жизне-

радостным и разговорчивым.

Четырехугольный звездочет лезет на вышку, скрипят старенькие ступени, одноглазый телескоп кружится вокруг своей оси, глубоко впивается в небо, ищет и находит светлую Вегу, а над бородой цвета шафрана бродит лихорадочная улыбка – улыбка фантазера, маниака и любовника без измен.

В августовскую звездную ночь, на первом выступе Чертова пальца, на том самом месте, где однажды нашли молодую искалеченную татарку, «светлейшая» встречается с Мировичем. Тропинка узка, и немудрено, что «светлейшая» должна взять руку Мировича, и нет ничего странного в том, что, дойдя до поворота, «светлейшая» спрашивает Мировича, пробовал ли он взобраться на верхушку Чертова пальца, как и не странно, что они долго, долго сидят потом вместе, оба молчат, оба прислушиваются, как море зовет, как изредка, скапываясь вниз, грохочут камни и эхо вторит им многозвучно. И оба сразу встают и так же молча идут к дому; еще горит синий огонек звездочета: значит, ночь еще не кончилась, значит, спят еще все – и люди, и рыбы, и птицы.

Потом встреча вторая, снова невольная, за нею третья, опять случайная, а уже четвертая – преднамеренная. Но и при шестой встрече, и при седьмой все молчит «светлейшая», только изредка говорит об Андрюшке, о крике орлином, вдруг послышавшемся, только изредка просит Мировича рассказать о людях, о землях.

И напрасно поэт, грея вино, допытывается у Мировича: тот ничем не может поделиться.

– Почему она очутилась здесь? Откуда она: из Москвы, из Петербурга?

Мирович молчит.

– А где ее родина? Уехать собирается?

Мирович все пьет, пьет и не отвечает.

– Мирович... – срывается поэт. – У вас гнуснейшая фамилия... Так удобно сказать вам: Мирович, вы... вы...

А минуты две спустя Мирович гладит скуфейку, подталкивает поэта к постели и говорит отрывисто, но мягко:

– Чудак... я ничего не знаю... Вы больше моего знаете: вы в мангалку верите. И не надо знать. Так лучше. И мне, и вам. Бросьте, успокойтесь. Надо удирать отсюда. Хоть с дья...

– Дайте мне маленького чертика, и я забуду о «светлейшей»! – задыхаясь, кричит поэт и в цветную подушку прячет жадные, пересохшие, вожделеющие губы.

А утром в саду Пататуева появляется новый жилец, внезапно, точно с горы свалился, не приехавший в экипаже, но, по-видимому, и пешком не пришедший: на нем ни пылинки, узкие лакированные туфли без единого пятнышка, продольная складка на брюках словно только что из-под утюга, перчатки без морщин, и белый тугой пластрон рубашки безупречно свеж. Комнату он получает вне очереди, хотя оставлена она для екатеринославского богача, в обед ему первому подносят, цветок для петлицы он срывает на глазах самого

Пататуева, о чем никто из старых жильцов и мечтать не смеет.

А к ужину он уже знаком со всеми: с вице-губернатором он находит общих знакомых, певице напоминает о ее дебюте у Зимина, а поэту расхваливает его первую книжку стихов и даже два-три стихотворения знает наизусть.

К вечеру вокруг него собираются все жильцы, и, не выпуская сигары изо рта, он рассказывает, как пробрался сюда, минуя пикеты, конную разведку, как с двумя переодетыми офицерами на изувеченном паровозе пересекал линию фронта, а сигара, хотя он курит беспрестанно, не уменьшается, и золотой ее поясок не обугливается.

Гость брит, худошав, похож на картинку с коробки папирос «Джентльменские», приятен лицом, и странно только, что волосы у него, как у женщины, начесаны на уши. Ушей не видать, и потому кажется, что высокий крахмальный воротник прямо упирается в голову. Он смугл, глаза у него зеленые, сухие, без блеска, но вдруг порой расцветчиваются, точно за зрачком загораются разноцветные огни и рассыпаются точками по белку – и тогда все его лицо меняется: губы в углах рта приподнимаются, подбородок суживается и внизу загибается крючком, брови дыбятся, кончик длинного и заостренного языка беспрестанно пробегает от верхней губы к нижней, и кажется, что вот-вот этот человек вскочит, гибкими руками закружит всех: в бешеной пляске, опрокинет садовые скамейки, деревья и захохочет, как филин, неживым

ХОХОТОМ.

Ночью как-то само собой получается, что он вместе с поэтом и Мировичем пьет вино, и хотя поэт ни словом не обмолвился о «светлейшей», он заговаривает о ней, называет ее по имени-отчеству и говорит, что на свете нет ничего лучше породистой крови.

– Она пьянит, как шампанское, а плебейская кровь, как пиво: пучит и быстро приедается. В этом, милые друзья, вся философия истории, весь смысл и вся суть общественных пертурбаций. Можно опрокинуть одних и вознести новых, можно взамен трона поставить клеенчатый диван для демократических царьков, но кровь не заменишь. Идеи появляются, распыляются, одни уходят, другие выскакивают, как прыщи, но не исчезает и не исчезнет разница крови.

– А вы любите кровь? – вдруг в упор спрашивает Мирович, все время молчавший, как обломок скалы у мыса. – Любите? – и силится поднять почему-то сегодня непомерно тяжелую голову.

– Чью? – улыбаясь, отвечает гость – господин Треч, Виктор Юрьевич, сюда заехавший на несколько дней для отдыха перед серьезным, как он недавно намекнул, и важным поручением за границу.

– Человечью, – грубо говорит Мирович, отбрасывает стул и, пошатываясь, идет к двери.

С порога оборачивается, что-то хочет сказать, но видит, как гость облизывается, – и, закрыв лицо руками, Мирович

стремглав бежит с лестницы вниз, в сад, к морю...

Виктор Юрьевич дружески хлопает поэта по коленке:

– А вы еще не готовы, как ваш приятель? Вино крепкое...
Еще в здоровой памяти? Чертей не видите? – и смеется добродушно, как в английских романах смеются старые дядюшки-холостяки, приехавшие с чеками к беспутным, но милым племянникам.

В эту ночь «светлейшая» спит крепко, как давно уже не спала.

Спит без сновидений и дум, и синий огонек в оконце звездочета гаснет без нее: сегодня он подмигнул господину Тречу – Треч бодрствует, сидит под окном «светлейшей», курит бесконечную, неуменьшающуюся сигару и шевелит под гладко начесанными прядями волосатыми, плоскими, серыми ушами.

Утром «светлейшая» впервые чувствует себя не уставшей. Впервые легко ни о чем не думать и, стоя перед зеркалом, не трудно заплетать тугую косу и не постыло завтракать на балконе, когда так ослепительно ярко солнечные блики на клумбах и пена кружевная у берега и латинский парус на далеком горизонте, а внизу, в конце лестницы, вдруг гаснет мангалка, хотя безветренно, как в оранжерее. И сколько ни старается «светлейшая», щепки не горят; «светлейшая» в смущении. Но вдруг открывает окно Треч, Виктор Юрьевич, – комната его на нижнем этаже, как раз под комнатой «светлейшей»; он непринужденно и мило предлагает помочь, шу-

тя просит в награду чашку кофе и за завтраком беседу незаметно переводит на французский язык; прононс у него великолепный. Треч очень корректен, ненавязчив и недолго сидит, а когда он уходит, «светлейшей» хочется заломить руки в острой тревоге.

На следующий день совместный завтрак повторяется: опять не горит мангалка и неподатливы щепки.

В этот день часами стынет обед «светлейшей», не дождав-шись ее.

А из окна поэт глядит, как по тропинке удаляются в горы две фигуры, два пятна – белое и черное: маркизет «светлейшей» и визитка Треча.

– Пойти за ними? – мечется поэт от окна к двери. – Подслушать, догадаться?.. Понять, как он мог так быстро?.. С ним она уходит в горы... Я бы на коленях пополз... Пойти? – и в неурочный час стучит Миновичу и просит послать за вином к болгарам, обещает вернуть деньги завтра, послезавтра, требует вина, много вина, бочонками чтобы залить весь сад, утопить все селение, – и молит, молит Миновича:

– Скажите же мне, кто он? Скажите, почему «светлейшая» пошла с ним?

Лунин входит, кашляет, не отворачиваясь, – уже перестал стесняться, – отплеывает в зеленую с притертой пробкой склянку и говорит, что Треч жулик, международный сыщик, что поэт сладострастный павиан и только притворяется монахом, себя называет вредным чахоточным плевком, ругает-

ся и находит, что всем им, вкупе с разжиревшими певицами, чиновниками и паралитиками, пора уже перестать гадить шелковый пляж.

– А я кто? Обо мне вы забыли, – усмехается Мирович и краснеет. От румянца, застенчивого, как у юноши, молодеет и хорошеет его усталое, многотрудное лицо.

– Вы? – Лунин машет рукой. – Вы несчастнее всех нас: вы циник с верой в святое чудо.

Мирович идет за вином; идя, согнулся и глядит себе под ноги, точно потерял и ищет любимое заветное кольцо.

Втроем пьют до сумерек, и когда «светлейшая» возвращается к себе, поэт на кровати громко читает чужие стихи, Лунин, пошатываясь, укладывает спать Андрюшка, а Мирович ждет на лестнице и, услышав шаги «светлейшей», решительно направляется к ней:

– Ждать вас сегодня на старом месте?

«Светлейшая» останавливается и вдруг говорит тихо и брезгливо:

– Бог мой, вы пьяны...

Возле внезапно поплывшей куда-то лестницы и стремительно падающего навеса вовремя появляется Треч, вовремя, чтобы подхватить сзади, руку сжать и сказать дружески:

– Придите в себя. Вот так. Еще раз понюхайте. Не бойтесь, я знаю, где ваша комната, и доведу вас с удовольствием. Вообще все, что угодно, сделаю для вас с большим удовольствием. Запомните это. Вы мне весьма нравитесь. Мужчин я

люблю таких, как вы, а женщин... Ай ай, как неосторожно вы заговорили с ней. Выпив, женщину или бьют, или берут, но никогда с нею не разговаривают. На постели или под палкой женщина не чувствует запаха вина: во всех остальных случаях она не прощает. Мы пришли. Позвольте, я вам растегну воротник. Еще раз понюхайте. Что, хорошо? Лежите, лежите, я не ухожу. Мы будем с вами беседовать о судьбах России. Вам нравится такая тема? Она очень пикантна, не правда ли, особенно теперь, когда кровь дешевле глины? Пожалуйста, нюхайте, не стесняйтесь, это заграничный наштабь. Или о женщинах поговорим? Хотите, я вам расскажу, как один казак в два часа изнасиловал пять евреек, двух пожилых и трех молоденьких? И когда старшая... Лежите, лежите, я взбиваю подушку...

К звездочету, к кому доступ труден, как к Далай-Ламе, Треч собирается запросто.

– Он в вас запустит подсвечником, – предупреждает Лунин.

– Увидим, – отвечает Треч.

И, возвращаясь от звездочета, говорит:

– Ваш отшельник и мудрец просто большой русский дурак. С землей он ничего общего не желает иметь, только со звездами. Он изволит думать, что наверху лучше, чем внизу. Старый хлам заброшенного чердака. Наверху или пусто, или еще хуже. Внизу хоть одно ценно: наглядность. Что наверху? Пьют водицу и укрываются облаком. Весело! А он уве-

рен в благости. Катастрофический дурак! Только в России мыслима такая разновидность. Любопытно, на какую звезду он вскочит, когда с моря, ну хотя бы турки, начнут обстреливать его дом?

– Не был он у Домгайлы, брешет! – бормочет Лунин. Но Мирович говорит глухо:

– Был.

А поэту безразлично, был он или не был: ведь все равно и сегодня Треч поведет «светлейшую» в горы.

– Вообще тут изрядное сборище чудаков, – продолжает Треч и обводит всех внимательным взглядом. – Вот вы, потерпевшие крушение. Ведь каждый из вас хоть раз в жизни, но тонул, правда?

– Допустим, – кривится Лунин. А Мирович шепчет ему сзади, лихорадочно, торопливо, точно в бреду:

– Молчите, молчите!

– Согласны? – радостно подхватывает Треч. – Потерпели крушение? Тонули? Барахтались и видели дно? На вашем месте другой бы навек закаялся пускаться вплавь, а вы... Другой бы все моря, все реки, рельсы и телеги возненавидел до пятого колена. Но на то вы и русские путешественники.

– А вы русский? – тихо спрашивает поэт и почему-то снимает скуфейку.

– Русский, – чуть улыбается Треч – глазами, потому что неизменная сигара во рту и дымится без устали. – Но я из новых русских. Морям я предпочитаю удобный кабинет, рель-

сам – кресло или качалку, а многим дорожным спутникам – одну женщину хорошей крови, породистой крови, заметьте. Я во всем люблю приятное. Конечно, и мне приходится бродить, но единственный и неизменный способ продвижения – это...

Треч заботливо поправляет манжеты и запинается на миг. – ...воздух. Но, к сожалению, он мне недоступен. Поэтому я в редких случаях разрешаю себе прогулки. Меня никуда не тянет. А вы – обломки, вы чудачки. Вам не сидится, какой-то бес вас толкает. Какой, какой? Любопытно, кого же это пандемониум откомандировал в распоряжение русских чудачков. Не завидую ему. Тонули – надо отдохнуть, а вы снова мечтаете о новых катастрофах.

– А кто вам докладывал о наших мечтах? – вновь перебивает Лупин.

И опять, волнуясь, горя, изнывая, шепчет ему Мирович:

– Молчите! Молчите!

– Кто? Никто, – спокойно отвечает Треч и невозмутимо, только брови слегка сошлись, говорит: – Я все знаю, как и все могу.

– Господин Треч!..

Мирович поднимается с дивана, руками упирается в плечи Лунина, точно боится поскользнуться на гладком полу, и дышит жарко и прерывисто.

– Господин Треч... Я научился смеяться над всеми идеями, я презрел всех людей. Мне в Калифорнии было так же

скучно, как в Елабуге. Я возненавидел слова, потому что они еще отвратительнее поступков. Я никому не верю... Но если... вы сейчас, вот при мне... прямо с дороги напрямик взберетесь на Чертов палец, я... я поверю в вас и пойду за вами куда угодно...

– Вы все с ума сошли! – кричит с балкона Лунин, задыхается от кашля и зовет, перегибаясь через перила: – Вернитесь, черт вас возьми. Вернитесь!

А когда сбегает вниз, в сад, и, никого уже не найдя, удрученно бредет куда попало, минут тридцать кружит по дорожкам и, наконец, упирается в какой-то чужой забор – он возле него находит поэта лежащим ничком в траве, и ничего, ничего не может понять в бессвязных и путанных словах поэта. Только одно улавливает, что и «светлейшая» ушла с теми, что позвал ее Треч, а она покорно покинула комнату, дунула на свечку и вышла.

– Как служанка!.. Поднялась: хорошо, иду. Надо разорвать, уничтожить все книги. Лгут книги, стихи. Правду знают только самцы – смуглые, прилизанные куаферы... Нет, нет, «светлейшая» чиста... Я обезумел, но... Лунин, Лунин... что это... что это? Смотрите... Смотрите!

И вцепившись в перекладину крепко, крепко, поэт своей скуфейкой тычет в небо – туда, где на конце Чертова пальца горит и разгорается багровое пламя все увеличивающегося и увеличивающегося костра...

У подножья Чертова пальца Треч, смеясь, говорит Миро-

вичу: «до скорого свидания», «светлейшей» целует руку, а минут пять спустя сверху раздается его голос в темноте отчетливый, как приказ:

– Я на верхушке разложу костер... Смотрите вверх! Вещественное доказательство... Без обмана... Остерегайтесь подделок. До свидани-и-и-я...

Скатываются камни, трещат ветки, море стихло и дремлет внизу: огромный, темный студень.

Мирович и «светлейшая» остаются одни. Мирович садится наземь, голова его почти у ног «светлейшей».

И в первый и в последний раз рука «светлейшей» грустно и ласково ложится на пыльные всклокоченные волосы человека-прохожего.

– Светлейшая... светлейшая. Что это с вами?

– Не знаю, – отвечает «светлейшая».

– Вы его любите? – спрашивает сидящий на земле. А та, кто в белом и сидит прямо и недвижно, съеживается и говорит:

– Нет.

– Но вы уйдете с ним?

– Уйду, – безропотно отвечает «светлейшая».

– Почему?

– Потому что... – и, с силой рванув волосы Мировича, «светлейшая» тянет его голову кверху, туда, где победоносно, гордо и страшно вспыхивает огонь. – Видите, горит! Горит, горит огонь. Потому, что... мне нужен костер. Я должна

сгореть на костре. Потому, что я когда-то погасила все огни. Потому, что нужна мне боль... Потому, что... я вся дрожу от муки...

Шурша, как морской песок во время прибоя, к ногам Миновича подкатывается куча щебня, перебитая ветка колючего горного шиповника впивается в затылок, и, отскочив в сторону, Минович попадает в объятия Треча.

– Алло, что с вами? Это я. Я цел и невредим.

А «светлейшая», вздрогнув, начинает смеяться; смеется так, как никогда не смеялась: хихикая.

Светящийся в темноте, как волчий глаз, кончик сигары Треча скачет то влево, то вправо: Минович, схватив Треча за лацканы, трясет его исступленно:

– Вы... черт. Дьявол. Кто вы?..

– Уберите руки, – спокойно-раздельно говорит Треч. – Вы разорвете сюртук, он на шелковой подкладке. Ирина Алексеевна, где вы? Идите к нам, успокойте Миновича. Бедняга за меня разволновался. Он...

А Миновича берет под руку и шепчет ему, надавливая локтем:

– Глупый мальчик... Студентик... Разве черти бывают такие? И какому черту дело до вас? Мне вы понравились, мне... Тречу – и только. Несмышлениш... романтик... Разве русский черт аккуратен, как немец, и изящен, как французский бульвардье? Пахнет от меня псиной? Понюхайте, это Аткинсон. Вы любите Пивера? Или Рожэ? Я предпочитаю

Аткинсона. Русский черт мелок и неудачлив, а я широк, и мне всегда везет. Мы великолепно дойдем до Константинополя. Ведь вы бродяга, а я вас проведу по всей Европе. А действовать мы будем изумительно. Увидите. Разве черти теперь появляются? В России, когда и так не резберешь, где кончается человек и начинается черт? Когда в каждой деревне свой бес, а в каждом городе свои черти? Глупый, глупый студентик!..

В саду невозмутимая вечерняя тишина.

Огня на Чертовом пальце никто не видел – певица не глядела в небо, инженер действительный статский равнодушен к Млечному Пути, харьковская медичка после сытного ужина не любовалась мечтательно звездами, вице-губернатор спать ложится с последним вздохом дня.

И только поэт и Лунин знают, как зловещ Чертов палец при багряных отсветах высоко-высоко вознесенного огня.

И еще знает поэт, что «светлейшая» стала послушной – боже, как служанка! – Мирович вялым и блеклым, словно прочитанное и смятое письмо, и что завтра, послезавтра они едут в Константинополь вместе с Тречем, в фелюге, ожидающей Треча за Чертовым пальцем в Святой бухте, откуда фелюга стрелой помчится к анатолийским берегам.

– Дикий бред... – выслушав Мировича, кричит поэт. – Вы больны, у вас малярия, тиф... Киммерийские туманы... Очнитесь!

А Мирович упорно твердит:

– Пусть. Мы все несмышлениши, – и сонно валится на диван, со вздохом вытягивая крепкие, привыкшие к ходьбе ноги.

В эту ночь поэт в одиночестве греет вино: Минович спит, и как ни старается поэт разбудить его, все же не может; спит, прикусив губы, спит, точно назло себе, спит жестоко, как спят только арестанты перед побегом, смертники накануне казни и матросы после многодневного шторма.

Мангалка горит, но ни о чем не рассказывает: ведь все известно и все неверно.

В клубочек свернулся старенький Анакреон и, как вещь уже ненужная и лишняя, убрался в пыльный уголок к паутины и дохлым мухам. Скуфейка пляшет на свету, чертит черные зигзаги на выбеленной стене и после долгих и замысловатых прыжков бросается к двери, исчезает, точно ко дну идет обессиленная, раз навсегда решившая, что бесполезно противиться, бороться...

Еще спят петухи и сны видят петушиные, когда поэт, дрожа от сырости – и разве только от сырости? – принимает к окошку Треча, о холодное, чуть мокрое стекло стучась вдавненным лбом.

– Треч... Треч... вы спите?

За окном ни свечи, ни лампы, только огненный ободок сигары разрезает кисею занавески.

– Нет. Читаю.

Стучит задвижка, дребезжит стекло, прозвенело, и белый

пластрон Треча заполняет все окно: ничего нет, только одно огромное, белое пятно.

– Треч, я тоже к вам...

И на подоконник поэт кладет свою бедную, затуманенную лысую голову.

– Я знаю, вы завтра уезжаете... Втроем... Треч... я не поверю в вас, как Мирович, но... Я не пойду за вами повсюду, как он, но одно... Одно... Треч... Я хочу... Я прошу... Пусть «светлейшая» на одну минуту заглянет ко мне в комнату... На одну минуту. Только коснется моей стены... глянет на мой стол... рукой своей тронет мой карандаш.

– Все?

– Все, – отвечает поэт и от боли, жути и ненависти впивается остатками выкрошенных зубов в свою руку диким укусом, чтобы заплакать, закричать, засмеяться, заготовить.

– Хорошо, спокойной ночи.

И опять стучит задвижка, и снова дребезжит стекло.

А несколько часов спустя, при дневном свете, ясном, как мысль ребенка, «светлейшая» входит в комнату поэта.

И поэт, роня тарелку, опрокидывая стул, пятится назад: играя его карандашом, «светлейшая» говорит, что вечером уезжает; касаясь стены, спрашивает поэта, останется ли он здесь на зиму, и, глядя на стол, трижды повторяет: «Ну, вот, я уезжаю», – и уходит, как тень, как и пришла тенью.

«Светлейшая... Светлейшая... Покорная, как служанка»... – бормочет поэт, а когда за дверью исчезает гладкое

белое платье, схватывает карандаш, бросает его на пол, топчет ногами, но вновь поднимает и целует, целует – обыкновенный чернильный карандаш, от которого остаются на губах лиловые пятна.

Лунину скверно – он умирает; на рассвете густо пошла кровь, а потом стало легко и просторно, как будто из погреба вышел на лужайку, полную ромашки. Он умирает и сознает, что конец приходит ему, прапорщику в бегах, с пулей в боку, потому он Андрюшка с утра отослал в гости – к ребятишкам калужской помещицы, потому он не отзывается на стук Мировича. Немного погодя Мирович снова подходит к двери, прислушивается, заглядывает в замочную скважину и, словно в перевернутый бинокль, ясно, но на далеком расстоянии, видит кровать, сброшенное одеяло, поднятый кверху подбородок, напряженную шею и слышит хрип, похожий на бульканье воды из узкого горлышка.

Мирович сходит вниз и тем же ровным шагом раз навсегда заведенной игрушки идет к Тречу и, не переступив порога, говорит:

– Лунин умирает. Вы должны его взять. Вы все можете. Увезите его в Меран, в Алжир. У него одно легкое.

Треч вскакивает:

– Еще кого? – и впервые угрожающе скалит ровные, один в один, зубы. – Великолепно. Богадельня под фирмой «Мирович, Треч и К-о». Может быть, и поэта прихватить? И вице-губернатора? Чудесная компания: чахоточный, сума-

сшедший и паралитик. Еще кого? Поройтесь в памяти, найдите! Фелюга с богатым неслыханным грузом: 45 пудов netto обломков. Специально для заграницы, для Бомарше, Вертгейма, для турецких и армянских купцов. Еще кого?

– Тогда я не еду, – отвечает Минович и держится за косяк двери, чтобы не упасть.

– Вот как? – Треч вплотную подходит к Миновичу. – Вот как? Прекрасно. Ставьте клизмы Лунину, выслушивайте ямбы поэта, грейте вздутый живот паралитика и считайте, что вы блестяще завершили свой путь. Блестяще: клистирной трубкой. И это после всех бурь, после всех поисков, падений и возвышений? И накануне новых, изумительных, неслыханных бурь? Великолепно! Что же, все русские бунтари кончают мирно: кто «исходящим» и «входящим», а кто клистирной трубкой. Хорошо. После всех катастроф розовая водица; после восстания против бога – елейный шопоток: брат мой во Христе, не хочешь ли на горшочек? Очень мило, очень вежливо. Что же, вольному воля, но «светлейшая» поедет! Поедет, мой дорогой, сентиментальный первокурсник. А если я вас!..

Треч заносит руку и вдруг заливается веселым, рокошущим смешком, дружески обнимает Миновича и ведет его ласково, но настойчиво к креслу.

– Ах вы, чудачок, чудачок! Так я вам и поверил. Не из такого вы теста, не мог я ошибиться: глаза ваши – враг ваш. Катастрофические глаза, а я такие обожаю. Ах вы, злой на-

смешник! Умиравших похоронят и без нас, поэтов мы оставим историкам литературы, а мы увидим Золотой Рог. Это будет наш рог изобилия. Ах, дорогой мой, как помчится фелюга мимо обалдевшей стражи! Какой длинный, предлинный нос мы покажем воюющим сторонам, как мило мы улыбнемся всем красным и белым, цветным всяческих мастей. Мимо, мимо всех и всего. Это будет в нашем стиле. Я знаю, как вы однажды изволили на Волге, когда Царицын... Молчу... молчу, ладно. Ах, как мы понесемся по голубым волнам. Ведь вам должна нравиться такая смелость. Где-то воюют, где-то Петры вспарывают животы Иванам, калужские перерезывают глотки мелитопольским мужичкам, а мы мчимся по морям. И в Константинополе открываем блестящий салон с Ириной Алексеевной во главе. Политический салон, истинно-дворянский, с короной на каждой салфетке, чтобы вдоволь позабавиться над политикой, министрами, комиссарами, французскими агентами, мужичками, рантьерами и генералами без армий. Быть может, вам улыбается другое? Радикальный кружок в Берлине? Радикальный вплоть до социализации жен, с сиятельной в качестве хозяйки? Недурно, правда? – правнучка героя 1812 года, о котором знает каждый школьник, и интернациональная лаборатория бомб; рюриковская кровь, без примеси, и санкюлоты всех стран, от индусов до эскимосов. А что вы скажете насчет легкого, где-нибудь в Париже или Рио-де-Жанейро, заведенница с мальчиками, переодетыми девочками, и девочками в коро-

теньких штанишках? Тише, не дергайтесь. Спокойнее: Ирина Алексеевна идет. Не злитесь, «светлейшая» любит вас, только вас, и с ней вы... Тише, она уже здесь. Ирина Алексеевна, вы кстати: Мирович только что видел хозяина фелюги, она ждет нас за мысом. Мы едем сегодня, да? Вы готовы?

– Я вся тут, – не поднимая глаз, отвечает «светлейшая», идет к столу, а проходя мимо Мировича, внезапно нагибается, схватывает его руку и целует ее. Раз, другой...

Треч улыбается.

А поздно вечером, когда гаснут все мангалки, и в саду Пататуева небольшие домики, похожие на детские копилки, сонно жмутся друг к другу под мерный и плавный рокот моря, Треч, «светлейшая» и Мирович идут к Чертову пальцу, налегке, без вещей, словно прогуляться: впереди «светлейшая» в своем платье из маркизета, а последним Треч, играя тростью с золотым набалдашником.

Чертов палец надвое рассекает море, по ту сторону Святая бухта, попасть туда можно только на лодке или перейдя Чертов палец. Два-три стражника бродят вдоль берега. Когда Треч с берега сворачивает к горной тропинке, один из стражников просит прикурить; Треч протягивает ему свою сигару, стражник, закурив, козыряет, и Треч одним прыжком догоняет ушедших.

Ночью набегают тучи.

До рассвета мелкий дождь, почти осенний и по-осеннему скучный, не выпускает из своей сплошной сети дома, скалы,

деревья, лишь к утру пропадает за горами.

И к утру снова безоблачно небо, снова ясна левая сторона, та, где холмы безмятежны и покрыты вереском, и опять справа угрюм и сух Чертов палец.

А перед ужином харьковская медичка, свершая свой обычный моцион, у подножья Чертова пальца натывается, точно сослепу, на искалеченное, изуродованное тело Мировича. Он лежит на камнях, пораскинув ноги, рассеченную голову уткнув в расщелину скалы, откуда испуганно разбежались пестрые ящерицы, и в одной руке его зажат кусок какой-то черной материи, но его собственный черный пиджак цел.

Все прибегают: и певица, и действительный статский, и калужская помещица, и даже паралитик вице-губернатор изъявляет желание взглянуть. Охает Пататуев, суетятся стражники, один из них верхом мчится за приставом в соседний городок, где много пыли, караимов, и где ежедневно благотворительные сборы, покачивают бородками и тюбетейками пожилые татары, отгоняя мальчишек.

Только поэта не видать, хотя всюду ищет его харьковская медичка.

И Лунина нет, к которому та же харьковская медичка стучится да стучится, а достучатся не может.

Вечер все глушит: и стук, и разговоры, и плач Андрюшка. В этот вечер рано гаснут мангалки, свечи и лампы на балконах, но синий огонек звездочета загорается в определен-

ный и неизменный свой час.

Когда в море отражается Вега, четырехугольный Бурейша-Домгайло-Кричинский лезет на вышку.

Скрипит старенькая лестница, одноглазый телескоп глубоко впивается в небо, ищет и радостно находит свою звезду, а на губах Бурейши, над всклокоченной бородой цвета шафрана, бродит и ширится лихорадочная безумная улыбка – улыбка любовника без измен, любовника навсегда.

Коктебель – Москва 1921